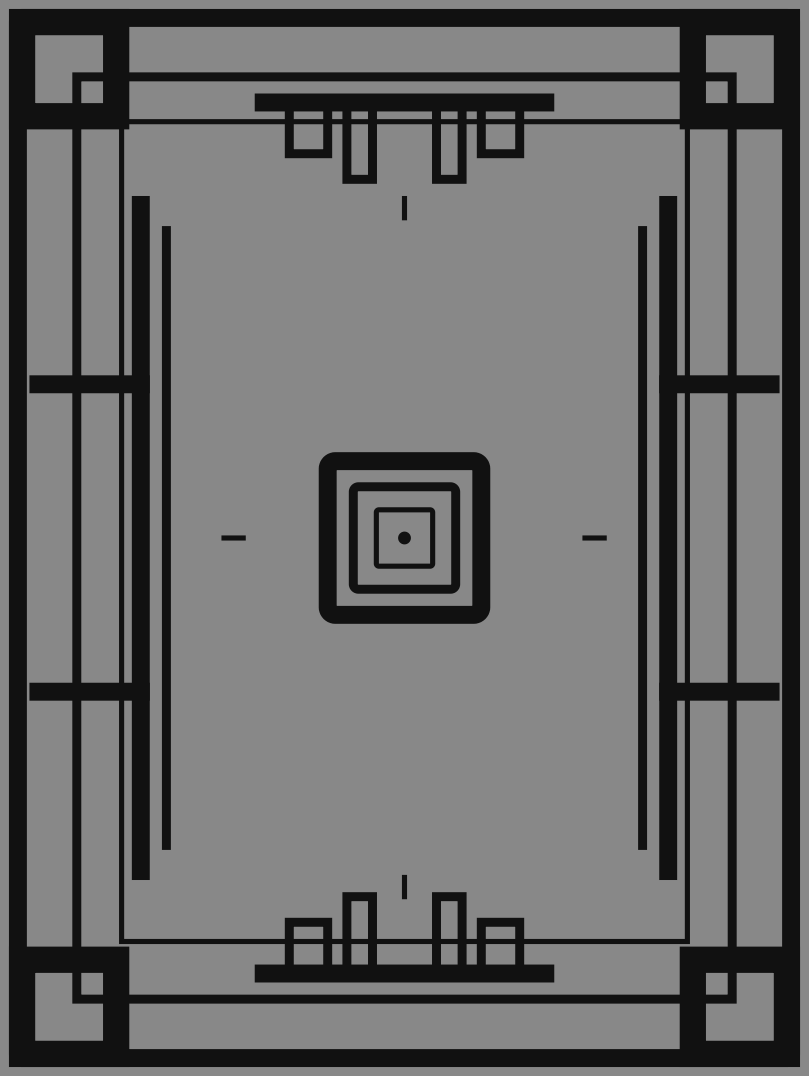


Заметки к роману
Маргерит Юрсенар

Заметки к роману
Примечания

Заметки к роману

Эта книга была задумана, а потом тем или иным образом, целиком и по частям, писалась между 1924 и 1929 годом — между двадцатым и двадцать пятым годом моей жизни. Все рукописи были затем уничтожены — и вполне заслуженно.

* * *

Фраза, найденная мною в одном из томов переписки Флобера году примерно в 1927-м, подчеркнутая жирной линией, читанная-перечитанная, которую невозможно забыть: «Богов уже не было, Христа еще не было — настало исключительное время, от Цицерона до Марка Аврелия, когда только человек и существовал». Значительная часть моей жизни прошла в попытках представить себе, а потом и изобразить этого единственного человека, впрочем связанного со всем сущим.

* * *

Работа возобновилась в 1934-м; долгие поиски; страниц пятнадцать написано, как казалось, набело; много раз я то оставляла замысел, то возвращалась к нему между 1934 и 1937 годом.

* * *

Долго я представляла себе эту книгу как серию диалогов, где слышны все голоса того времени. Но как я ни старалась, детали доминировали над целым; части нарушали равновесие всего произведения; голос Адриана глох среди всего этого шума. Мне не удавалось выстроить мир, увиденный и услышанный другим человеком.

* * *

От редакции 1934 года сохранилась только одна фраза: «Я начинаю различать очертания своей смерти». Подобно живописцу, который расположился в виду горизонта и беспрестанно перемещает мольберт то вправо, то влево, я отыскала наконец точку зрения для своей книги.

* * *

Взять жизнь известную, завершенную, зафиксированную Историей (насколько вообще можно зафиксировать жизнь), взять так, чтобы разом охватить всю линию целиком; более того, выбрать момент, когда проживший эту жизнь человек взвешивает ее, оценивает, — предположим на минуту, что он способен судить о ней. Сделать так, чтобы он оказался перед своей жизнью в том же положении, что и мы перед своей.

* * *

Утра на Вилле Адриана; бесчисленные вечера, проведенные в маленьких кафе, что окружают храм Зевса Олимпийского; нескончаемое плаванье туда-сюда по греческим морям; дороги Малой Азии. Для того чтобы я смогла воспользоваться этими воспоминаниями — моими воспоминаниями, — они должны были сделаться для меня столь же отдаленными, как II век.

* * *

Эксперименты со временем: восемнадцать дней, восемнадцать месяцев, восемнадцать лет, восемнадцать веков. Недвижное бытие статуй, которые, подобно голове Антиноя Мондрагона в Лувре, все еще живут внутри этого мертвого времени. Та же проблема с точки зрения людских поколений: двух дюжин пар костлявых рук, каких-нибудь двадцати пяти стариков хватило бы, чтобы заполнить промежуток между Адрианом и мной.

* * *

В 1937 году, во время моего первого пребывания в Соединенных Штатах, я читала кое-какую литературу для этой книги в библиотеке Йельского университета[1]; я написала два фрагмента: о визите к врачу и об отказе от физических упражнений. В переработанном виде эти отрывки

вошли в настоящую редакцию.

* * *

Во всяком случае, я была слишком молода. За некоторые книги не стоит браться, пока тебе не минет сорок лет. До этого возраста рискуешь не знать о существовании важных природных границ, создающих — между человеком и человеком, между веком и веком — бесконечное разнообразие людей, или же, напротив, придать слишком большое значение обычному административному делению, таможням и пограничным будкам. Мне понадобились эти годы, чтобы научиться точно вычислять расстояния между императором и мной.

* * *

В период с 1937 по 1939 год я перестала работать над книгой (за исключением нескольких дней, в Париже).

* * *

Оказалось, что в Малой Азии чтут память Т. Э. Лоуренса [2] так же, как Адриана Но за Адрианом была не пустыня, а афинские холмы. Чем больше я об этом думала, тем больше история человека, говорящего «нет» (прежде всего самому себе), вызывала у меня желание представить через Адриана точку зрения человека, который не го-

ворит «нет», а если и говорит в одном месте, то лишь затем, чтобы в другом месте сказать «да». Само собой разумеется, однако, что такой аскетизм и такой гедонизм во многом тождественны.

* * *

В октябре 1939 года рукопись и большая часть записей были оставлены в Европе; и все же я взяла с собой в Соединенные Штаты кое-какие конспекты, сделанные когда-то в Йеле, карту Римской империи, относящуюся ко времени смерти Траяна, которую возила с собой уже несколько лет, и профиль Антиноя из Археологического музея Флоренции, купленный там же в 1926 году, — Антиноя юного, серьезного и нежного.

* * *

С 1939 по 1948 год замысел был оставлен. Иногда я думала о нем, но без воодушевления, почти равнодушно, как о чем-то неосуществимом. Было даже как-то стыдно, что вообще пыталась сделать нечто подобное.

* * *

Состояние глубокого отчаяния у писателя, который не пишет.

* * *

В мрачные часы уныния и бессилия я шла в прекрасный Хартфордский музей (Коннектикут)

смотреть одно римское полотно Каналетто — коричневато-золотистый Пантеон на фоне голубого закатного летнего неба. Всякий раз я уходила из музея просветленной и согретой.

* * *

Году в 1941-м, в Нью-Йорке, я случайно обнаружила у москательщика четыре гравюры Пиранези, которые мы с Г. купили. На одной из них, с видом на Виллу Адриана, которую я тогда еще совсем не знала, изображена Канопская часовня, откуда в XVII веке были вывезены стилизованная под египетскую статуя Антиноя и базальтовые статуи жриц, теперь находящиеся в Ватикане. Круглое строение, треснувшее, словно череп, с которого свисает, будто пряди волос, какой-то странный кустарник. Почти медиумический гений Пиранези уловил здесь наваждение, тягучую рутину воспоминания, трагическую архитектуру внутреннего мира. Многие годы я почти каждый день смотрела на эту гравюру, и у меня даже мысли не возникало о давнем и, как казалось, заброшенном предприятии. Таковы причудливые повороты того, что называется забвением.

* * *

Весной 1947 года, разбирая бумаги, я сожгла

записи, сделанные в Йеле, — посчитав, что они окончательно стали ненужными.

* * *

Тем не менее имя Адриана фигурирует в моем эссе о греческом мифе 1943 года, опубликованном Кайуа в «Леттр франсез» в Буэнос-Айресе. В 1945-м образ утонувшего Антиноя, унесенного, так сказать, рекой забвения, вновь всплывает в другом, еще не изданном эссе «Песнь свободной души», написанном перед тем, как мне случилось серьезно заболеть.

* * *

Без конца говорю себе, что все, о чем я здесь рассказываю, предстает в ложном свете из-за того, о чем я умалчиваю: в написанном лакуна еще заметнее. Здесь ничего не говорится о том, что я делала все эти трудные годы, ни о мыслях, ни о работах, ни о тревогах, ни о радостях, ни о мощных отзвуках событий внешнего мира, ни о беспрерывном испытании себя оселком фактов. А еще я обхожу молчанием опыты болезни и другие, более сокровенные, которые они за собой влекут, — и вечное присутствие любви или поиски любви.

* * *

Неважно: потребовалось, наверное, это нару-

шение связи, этот разрыв, эта ночь души, которую столькие из нас пережили тогда — каждый по-своему и часто трагичнее и ощутимее, чем я, — потребовалось все это, чтобы понудить меня к попытке преодолеть не только расстояние, отделяющее меня от Адриана, но главным образом то, что отделяет меня от самой себя.

* * *

Полезно все, что делаешь для себя, даже если о пользе не думаешь. В годы, проведенные в разлуке с родиной, я продолжала читать античных авторов — тома издательства «Лоэб-Хайнеманн» в красных и зеленых обложках заменили мне отечество. Один из наилучших способов реконструировать мысли человека — это воссоздать его библиотеку. В течение нескольких лет, сама того не ведая, я таким образом заранее работала над тем, чтобы вновь заполнить книгами полки в Тибуре. Оставалось лишь вообразить опухшие руки больного над развернутой рукописью.

* * *

Сделать изнутри то, что археологи XIX века сделали извне.

* * *

В декабре 1948 года я получила из Швейцарии оставленный во время войны на хранение

чемодан с семейными бумагами и письмами десятилетней давности. Я села у огня, намереваясь поскорее справиться с делом, очень похожим на жуткую опись вещей после чьей-то смерти; так я провела в одиночестве несколько вечеров. Я развязывала пачки писем, пробегала глазами, прежде чем уничтожить, груду корреспонденции, полученной от людей, мною забытых и забывших меня, живущих или уже умерших. Некоторые из этих листков относились ко времени предшествующего поколения; сами имена мне ничего не говорили. Машинально я бросала в огонь мертвые свидетельства обмена, мыслями с исчезнувшими Мари, Франсуа, Полями. Развернула четыре или пять страниц, отпечатанных на машинке, уже пожелтевших. Прочла обращение: «Дорогой Марк...» Марк... О каком друге, любовнике или, может, дальнем родственнике идет речь? Я не помнила этого имени. Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что Марк — это Марк Аврелий и в руках я держу фрагмент утраченной рукописи. С этого момента у меня уже не возникало сомнений: книга во что бы то ни стало должна быть написана заново.

* * *

В ту ночь я вновь открыла два тома из тех, что

также были мне возвращены, — остатки разрозненной библиотеки. Это были Дион Кассий в прекрасном издании Анри Этьенна [3] и посредственно изданный том Historia Augusta [4] — два главных источника сведений о жизни Адриана, приобретенных в ту пору, когда я замышляла написать эту книгу. Все, что мир и я пережили в эти годы, обогатило хроники ушедшей эпохи, пролило иной свет и бросило иные тени на жизнь императора. Еще недавно я думала прежде всего о человеке просвещенном, о путешественнике, поэте, любовнике — ничто из этого не исчезло, но теперь в моем воображении впервые среди всех прочих ликов необычайно отчетливо рисовался самый официальный и вместе с тем наиболее таинственный лик императора. Я жила в рушащемся мире, это научило меня понимать значимость Государя.

* * *

Мне доставляло удовольствие писать и переписывать портрет человека почти мудрого.

* * *

Только одна еще историческая личность почти с такой же настойчивостью влекла меня: Омар Хайям, поэт и астроном. Но жизнь Хайяма. — это жизнь созерцателя и истинного хулителя. Мир

действия был ему совершенно чужд. Впрочем, я не знаю Персии и ее языка.

* * *

Невозможно поставить в центре романа женщину, например, сделать стержнем повествования жизнь не Адриана, а Плотины. Жизнь женщины — слишком ограниченная или слишком тайная. Начни она рассказывать о себе, ей прежде всего бросят упрек в том, что она больше не женщина. Довольно трудно вложить сколько-нибудь правды даже в уста мужчины.

* * *

Я отправилась в Таос, в Нью-Мексико. Взяла с собой чистые листы бумаги, чтобы заново начать эту книгу, — точно пловец, бросающийся в воду, не зная, доплывет ли он до другого берега. Поздно ночью я работала над ней между Нью-Йорком и Чикаго, заперевшись в спальном вагоне, словно в склепе. Потом, весь следующий день, — в привокзальном ресторане в Чикаго, где ждала поезд, застрявший в пути из-за снежной бури. Затем, опять до рассвета, в вагоне обозрения экспресса из Санта-Фе, окруженная черными вершинами колорадских гор, под вечной россыпью звезд. Фрагменты о еде, любви, сне и о природе человека были, таким образом, написаны на едином

дыхании. Не припомню более насыщенного дня и более ясных ночей.

* * *

Не стану подробно рассказывать о трех годах поисков, которые интересны только специалистам, и о выработке способа бредить — это вызовет интерес разве что у безумцев. Последнее слово, однако, слишком романтическое; поговорим лучше о неизменном и как можно более заинтересованном соучастии в прошлом.

* * *

Взять себе в помощники эрудицию и магию, а если точнее и без иносказаний, милое волшебство, состоящее в умении мысленно проникать во внутренний мир другого человека.

* * *

Потрет голоса. Я решила писать «Воспоминания Адриана» от первого лица, для того чтобы обойтись, где это только возможно, без посредника, будь то даже я сама. Адриан мог говорить о своей жизни увереннее и остроумнее, чем я.

* * *

Тот, кто выделяет исторический роман в особый жанр, забывает, что романист всегда лишь интерпретирует, пользуясь известными ему приемами, некоторый набор былых событий,

сознательных или бессознательных воспоминаний, собственных или еще чьих-то, но сотканных из тех же нитей, что и История. Творение Пруста, точно так же как «Война и мир», есть реконструкция утраченного прошлого. Правда, исторические романы 1830-х годов больше похожи на мелодраму или приключенческий роман с продолжением, как «Герцогиня де Ланже» или странная «Златоокая девушка» [5]. Флобер старательно с помощью сотен мелких деталей воссоздавал дворец Гамилькара, но точно так же он воссоздавал Ионвиль. В наш век исторический роман или то, что мы, удобства ради, согласились так называть, может быть лишь погружением в обретенное время, когда мы наконец овладеваем собственным внутренним миром.

* * *

Время не имеет значения. Меня всегда удивляло, что мои современники, воображающие, будто покорили и преобразовали пространство, даже не ведают, что можно произвольно сжимать промежутки между веками.

* * *

Всё и вся ускользает от нас — и мы сами тоже. О жизни моего отца я знаю меньше, чем о жизни Адриана. Мое собственное существование, до-

ведись мне писать о нем, я бы восстанавливала извне, с трудом, будто это чужая жизнь, а не моя; мне пришлось бы обращаться к письмам и к воспоминаниям других людей, чтобы фиксировать эту зыбкую память. Это всегда лишь полуразрушенные стены, теневые стороны. Постараться, чтобы лакуны в нашем тексте, где речь идет о жизни Адриана, совпадали с теми пробелами, причиной которых могла быть его собственная забывчивость.

* * *

Это вовсе не означает, как слишком часто говорят, что историческая правда всегда и везде неуловима. С этой правдой дело обстоит так же, как и с любой другой: все на свете обман — более или менее.

* * *

Правила игры: все изучать, все читать, все выведывать и в то же время пользоваться «Упражнениями» Игнатия Лойолы или техникой индусского аскета, годами изнуряющего себя, чтобы чуть более отчетливо узреть картину, которую он воображает, сомкнув веки. Перебирая тысячи карточек, видеть за ними злободневность фактов; каменным лицам стараться придать мягкость и подвижность живых. Если два текста,

два утверждения, две идеи противоречат друг другу, находить больше удовольствия в том, чтобы их примирить, нежели в их взаимном уничтожении; видеть в них две грани одного и того же явления или события, два различных состояния, реальность убедительную, потому что она сложна, и человеческую — потому что многообразна. Научиться читать текст II века теми глазами, воспринимать той душой и теми чувствами, которые были присущи людям той эпохи; помещать его в контекст современных событий; убирать, если можно, наслоения всех идей и чувств, образовавшиеся между теми людьми и нами. И все же использовать — но осторожно и только в качестве подготовительной процедуры — возможность сближений и сопоставлений, новые перспективы, мало-помалу созданные столькими веками и событиями, отделяющими нас от того текста, факта, человека; использовать их как своего рода вехи на возвратном пути к определенной точке во времени. Не позволять себе гоняться за тенями; не допускать, чтобы от дыхания запотевало зеркало; брать только самое существенное, самое прочное, что есть в нас, во взлетах наших чувств и в работе нашей мысли, — брать как точку соприкосновения с

людьми, которые, как и мы, ели маслины, пили вино, пачкали пальцы медом, укрывались от пронизывающего ветра и проливного дождя, летом искали тень платана, наслаждались жизнью, предавались размышлениям, старились и умирали.

* * *

Я несколько раз показывала медикам отрывки исторических сочинений, где речь шла о болезни Адриана. В целом это мало чем отличается от клинических описаний смерти Бальзака.

* * *

Для большей ясности использовать первые симптомы болезни сердца.

* * *

«Что ему Гекуба?» — размышляет Гамлет, глядя на бродячего актера, оплакивающего Гекубу. И вот он вынужден признать, что искренне рыдающий комедиант смог установить с умершей три тысячи лет назад связь более глубокую, чем сам он со своим отцом, которого похоронил совсем недавно, — но все еще не испытал столько скорби, сколько нужно для способности к немедленному отмщению.

* * *

Существо человека, его строение мало меня-

ются. Ничего нет более постоянного, чем изгиб лодыжки, место расположения сухожилия или форма пальца на ноге. Но бывают времена, когда обувь разнашивается меньше. В эпоху, о которой я говорю, мы еще очень близки к ничем не стесненной правде босой ноги.

* * *

Наделяя Адриана способностью предвидеть будущее, я оставалась в сфере правдоподобного только тогда, когда его пророчества были расплывчаты. Беспристрастный аналитик дел человеческих обычно очень мало ошибается касательно существа грядущих событий и, напротив, делает множество ошибок, когда надо предугадать, как именно станут развиваться эти события во всех своих подробностях и поворотах. Наполеон на Святой Елене предсказывал, что через сто лет после его смерти Европа будет охвачена революцией или окажется в руках казаков; он прекрасно видел два возможных исхода событий, но он и вообразить не мог, что они наложатся один на другой. Вообще-то мы исключительно из высокомерия, грубого невежества и малодушия отказываемся усматривать в настоящем черты грядущих эпох. Вольные мудрецы античного мира мыслили, как и мы, на основа-

нии законов физики или всеобщей физиологии: они предвидели конец рода человеческого и гибель вселенной. Плутарх и Марк Аврелий знали, что боги и цивилизации живут и умирают. Мы не единственные, кто смотрит и смотрел в лицо неумолимому будущему.

* * *

Впрочем, прозорливость, которую я приписываю Адриану, есть не что иное, как способ подчеркнуть в нем почти фаустовское начало — начало, которое проявляется, скажем, в Сивиллиных книгах[6], в речах Элия Аристида [7] или в портрете состарившегося Адриана, как его изображает Фронтон [8]. Справедливо или нет, но этого смертного наделяли сверхчеловеческими качествами.

* * *

Если бы этот человек не заботился о поддержании мира и не возродил бы экономику империи, его личные достоинства и недостатки интересовали бы меня куда меньше.

* * *

Сколько ни занимайся увлекательной работой по сопоставлению текстов — все будет мало. Поэма о добытом на Теспиях охотничьем трофее, которую Адриан посвятил Эроту и Афродите

Урании «на холмах Геликона, на берегу Нарциссова источника», относится к осени 124 года; примерно в это же время император отправился в Мантинею, где, как нам сообщает Павсаний, распорядился восстановить надгробие на могиле Эпаминонда и начертал на нем стихотворную эпитафию. Мантинейская надпись ныне утрачена, однако жест Адриана можно в полной мере понять, только если принять во внимание фрагмент из «Моралий» Плутарха, где сообщается, что Эпаминонд был погребен между двух молодых друзей, убитых в том же бою. Если допустить, что встреча Антиноя и императора произошла в Малой Азии в 123—124 годах — во всяком случае, дата эта самая правдоподобная и более других подтверждается иконографическими находками, — оба эти произведения являются составной частью того, что можно было бы назвать Антиноевским циклом, поскольку вдохновила императора на их написание та самая любвеобильная и героическая Греция, о которой Арриан вспомнит потом, после смерти фаворита, когда сравнит юношу с Патроклом.

* * *

Есть несколько человек, портреты которых хотелось бы нарисовать подробнее: это Плотина,

Сабина, Арриан, Светоний. Однако Адриан воспринимал их по-своему. Даже Антиноя можно увидеть лишь в преломленном свете, через воспоминания императора, отмеченные присущей страстно увлеченному человеку тягой к мелочам и кое-какими заблуждениями.

* * *

Все, что можно сказать о характере Антиноя, присутствует в лаконичнейшем из его образов:«Eager and impassionated tenderness, sullen effeminacy» [9]. Шелли с восхитительным простодушием поэта в шести словах выразил самую суть там, где искусствоведы и историки XIX века разражались напыщенными высоконравственными речами или же предавались туманным и несомненно ложным иллюзиям.

* * *

Портреты Антиноя: их предостаточно, от бесподобных до посредственных. Все они, несмотря на различия в художественной манере скульпторов и в возрасте модели, несмотря на различия между теми, что выполнены с живого человека, и теми, что сделаны в честь умершего, потрясают невероятной реалистичностью образа, по-разному представленного, но всегда тотчас же узнаваемого; это единственный в классической древности

пример бессмертия и приумножения в камне того, кто был не политиком и не философом, но просто возлюбленным. Среди этих изображений два самых прекрасных наименее известны, и только они несут на себе имя скульптора. Одно из них — барельеф, подписанный Антонианом из Афродисиады и найденный лет пятьдесят назад на земле Агрономического института, Fundi Rustici, в зале административного совета которого он сегодня находится. Поскольку ни один гид в Риме, уже переполненном статуями, не упоминает о существовании этого барельефа, туристы о нем не знают. Произведение Антониана высечено в итальянском мраморе; несомненно, оно было создано в Италии, вероятно, в Риме, мастером, уже давно проживавшим в Городе или же привезенным Адрианом из какого-то путешествия. Барельеф отличается бесконечным изяществом. Орнамент из виноградной лозы нежнейшей арабеской обрамляет склоненное молодое и грустное лицо: зрителя неизбежно посещают мысли о закате короткой жизни, об осеннем вечере, насыщенном запахами плодов. Скульптура носит отпечаток лет, проведенных в подвале в период последней войны: белый мрамор одно время был покрыт землистого цвета

пятнами; три пальца левой руки отколоты. Так боги страдают от людских безумств.

[Запись 1958 года. *Только что прочитанные строки впервые появились на бумаге шесть лет назад; тем временем барельеф Антониана был приобретен римским банкиром Артуро Озио, человеком странным, достойным пера Стендаля или Бальзака. Озио заботится об этой прекрасной вещи так, как он заботится о животных, вольно разгуливающих в его владениях неподалеку от Рима, и о деревьях, тысячи которых он посадил в своем поместье Орбетелло. Редкая добродетель. «Итальянцы терпеть не могут деревья», — писал Стендаль уже в 1828 году, а что он сказал бы сегодня, когда римские дельцы губят горячей водой великолепные приморские сосны, находящиеся под охраной города, которые мешают им при строительстве их муравейников? Роскошь не менее редкая: сколько найдется богатых людей, которые населяют свои леса и луга вольными животными, — не для того, чтобы получить удовольствие от охоты, а для того, чтобы создать некое подобие дивного Эдема? Любовь к античным статуям, этим громоздким, воплощающим покой предметам, долговечным и вместе с тем хрупким, почти так же редко встречается среди*

коллекционеров нашего суетного и не вселяющего надежду на будущее времени. По мнению специалистов, новый обладатель барельефа Антониана недавно подверг его самой деликатной из всех возможных чисток — ручной чистке: осторожное трение кончиками ловких пальцев освободило мрамор от ржавчины и плесени, вернув камню его мягкий белоснежно-кремовый блеск.]

Второй шедевр — знаменитый сардоникс, носящий название Гемма Мальборо, поскольку принадлежит к этой, ныне разрозненной, коллекции; более тридцати лет эта великолепная инталия считалась утерянной или погребенной под землей. Публичные торги в Лондоне в январе 1952 года явили ее свету, и крупный коллекционер Джорджо Санджорджи, человек знающий и со вкусом, вернул ее в Рим. Его благожелательности я обязана тем, что видела эту уникальную вещицу и прикасалась к ней. На ее закраине прочитывается сокращенная подпись, которую считают, вероятно не без оснований, принадлежащей Антониану из Афродисиады. Художник столь мастерски вписал совершенный профиль в узкое пространство сардоникса, что этот кусочек камня остается, наравне со статуей или барельефом, свидетельством большого,

утраченного ныне искусства. Размеры произведения заставляют забыть о величине объекта. В эпоху Византии обратная сторона шедевра была покрыта оболочкой из чистейшего золота. Так эта вещь переходила от одного неизвестного коллекционера к другому, пока не оказалась в Венеции, где ее присутствие отмечено в большом собрании XVII века; Гэвин Гамильтон, знаменитый антиквар, приобрел ее и привез в Англию, откуда она вернулась в исходную точку, коей был Рим. Из всех предметов, еще присутствующих на земле, это единственный, в отношении которого можно предположить, что его часто держал в руках Адриан.

* * *

Нужно проникать во все закоулки сюжета в поисках вещей самых простых и пробуждающих к литературе всеобщий интерес. Только изучая Флегонта, секретаря Адриана, я узнала, что именно благодаря этому забытому персонажу мы познакомились с первым и одним из прекраснейших повествований о призраках — с мрачной и сладострастной «Коринфской невестой», которой вдохновлялся Гёте и затем Анатоль Франс, когда создавал свою «Коринфскую свадьбу». Впрочем, Флегонт в том же стиле и с тем же необузданным

любопытством записывал все, что выходит за пределы повседневною человеческого опыта, — абсурдные истории о двуглавых чудовищах и о гермафродитах, производящих на свет потомство. Такой была, по крайней мере иногда, пища для разговоров за императорским столом.

* * *

Те, кто «Воспоминаниям Адриана» предпочли бы «Дневник Адриана», забывают, что деятельные люди редко ведут дневник: почти всегда лишь позднее, в часы праздности, они начинают вспоминать, записывать — и чаще всего сами удивляются.

* * *

Если бы не было никакого иного документа, то одного письма Арриана императору Адриану но поводу плавания вдоль берегов Черного моря было бы достаточно для воссоздания главных черт личности императора: это и дотошность во все вникающего начальника, и интерес к делам мирным и военным, и любовь к хорошим скульптурам, и страсть к поэзии и мифологии. Достаточно этого письма и для воссоздания того мира, редкостного во все времена и полностью исчезнувшего после Марка Аврелия, в котором, сколь мало ни различаются благоговение и ува-

жение, ученый и администратор еще обращались к государю как к другу. Здесь все: и окрашенное грустью возвращение к идеалу Древней Греции, и тонкий намек на утраченную любовь и на утешение, которое тот, кто остался жить, ищет в сокровенном, и неотступные мысли о неведомых странах и дикой природе. Упоминание, глубоко доромантическое, пустынных краев, где обитают морские птицы, наводит на размышления о великолепной вазе, найденной на Вилле Адриана и хранящейся теперь в Музее Терм, на которой стая цапель, распахнув крылья, взлетает среди полного одиночества, на фоне мраморно-снежной белизны.

* * *

Примечание 1949 года. *Чем больше я стараюсь сделать портрет похожим на оригинал, тем дальше я от книги и от человека, способного понравиться. Разве только некоторые любители копаться в человеческой судьбе меня поймут.*

* * *

Роман пожирает сегодня все литературные формы; мы почти вынуждены пройти испытание романом. В XVII веке это исследование судьбы человека, который звался Адрианом, было бы трагедией; в эпоху Возрождения оно было бы

трактатом.

* * *

Эта книга есть повторение в сжатом виде грандиозного труда, выполненного для себя самой. Я взяла за обыкновение каждую ночь записывать, почти машинально, результат тех долгих, умышленно вызванных видений, когда я погружалась в другое время. Самые незначительные слова и жесты, едва уловимые нюансы фиксировались мною на бумаге; сцены, которые в книге даны двумя строками, ночью описывались с огромным количеством деталей и как бы в замедленном ритме. Если бы все эти подобия отчетов сложить вместе, получился бы том не в одну тысячу страниц. Но каждое утро я сжигала плоды своих ночных трудов. Из-под моего пера, таким образом, вышло множество весьма туманных размышлений и несколько не совсем пристойных описаний.

* * *

Человек, одержимый правдой или по крайней мере точностью, чаще всего способен обнаружить, как Пилат, что правда-то не совсем чиста. Отсюда смешанные с самыми прямолинейными утверждениями сомнения, отступления, увертки, которые ум более обыденный не породил бы. В

отдельные моменты, впрочем их было немного, у меня даже возникало ощущение, что император лжет. В таких случаях нужно было позволять ему лгать, как лжем мы все.

* * *

Умственно неразвиты те, кто говорит: «Адриан — это вы». Так же как, наверно, неразвиты и те, кто удивляется, зачем это я выбрала столь далекий и необычный сюжет. Колдун, режущий себе большой палец в момент, когда он вызывает тени, знает, что они повинуются его призыву лишь потому, что пьют его кровь. А еще он знает или должен знать, что говорящие с ним голоса мудрее и заслуживают большего внимания, чем произносимое им самим.

* * *

Я довольно скоро поняла, что описываю жизнь великого человека. А раз так, побольше уважения к правде, побольше внимания, а от меня — побольше молчания.

* * *

В каком-то смысле всякая рассказанная жизнь выглядит образцовой: мы пишем, чтобы осудить или защитить тот или иной миропорядок, чтобы дать определение предлагаемому нами методу. Не менее справедливо и то, что стремление во

что бы то ни стало приукрасить или, напротив, камня на камне не оставить, деталь, многократно преувеличенная или предусмотрительно опущенная, обесценивают работу почти всех биографов: человек выстроенный заменяет человека понятого. Никогда нельзя упускать из виду рисунок человеческой жизни, который, что бы там ни говорили, представляет собой не горизонталь и два перпендикуляра к ней, а скорее три извилистые, уходящие в бесконечность линии, непрестанно сближающиеся и расходящиеся: каким человек считал себя, каким ему хотелось быть и каким он был в действительности.

* * *

Как бы мы ни старались, мы всегда реконструируем памятник на свой лад. Хорошо еще, если используем только подлинный камень.

* * *

Всякий человек, переживший много разных приключений, — это я.

* * *

II век интересен мне тем, что очень долго он был веком последних свободных людей. Что до нас, мы, пожалуй, уже слишком далеки от того времени.

* * *

Холодным вечером 26 декабря 1950 года, у кромки Атлантического океана, среди почти полярного безмолвия острова Маунт-Дезерт в Соединенных Штатах я пыталась пережить удушающую жару июльского дня 138 года в Байях: тяжесть простыни на усталых, свинцовых ногах, едва уловимый шум моря без приливов и отливов, временами доносящийся до человека, поглощенного звуками собственной агонии. Я постаралась дойти до последнего глотка воды, последнего приступа дурноты, последнего образа. Императору ничего не оставалось, кроме как умереть.

* * *

Эта книга не посвящена никому. Ее следовало бы посвятить Г. Ф., и так и было бы, но в каком-то смысле неуместно предварять личным посвящением труд, авторство которого я как раз и стремлюсь затушевать. Однако даже самое длинное посвящение есть еще и способ, все равно слишком неловкий и банальный, прославить ни с чем не сравнимую дружбу. Когда я пытаюсь определить добро, которое делается мне уже много лет, я понимаю, что такая привилегия, какой бы редкой она ни была, все-таки не может быть исключительной и что в судьбе завершенной

книги или в жизни удачливого писателя должен существовать — пусть не всегда и немного в стороне — кто-то, кто не пропустит слабую или неточную фразу, которую мы, утомленные, уже готовы оставить; кто раз двадцать, если нужно, перечитает вместе с нами сомнительную страницу; кто берет для нас с библиотечных полок увесистые тома, где могут содержаться нужные сведения, и упорно листает книгу, когда усталость уже вынудила нас ее захлопнуть; кто нас поддерживает, хвалит, а иногда с нами воюет; кто так же бурно переживает с нами радости, даруемые искусством и жизнью, и разделяет труды, всегда непростые, но никогда не скучные; кто не является ни нашей тенью, ни нашим отражением, ни даже дополнением, но является самим собой; кто оставляет нас божественно свободными и все же побуждает быть в полной мере тем, кто мы есть. Hospes Comesque.

* * *

В декабре 1951 года я узнала о недавней кончине немецкого историка Вильгельма Вебера, в апреле 1952-го — о кончине ученого Поля Грендора, работы которого мне очень пригодились. На днях разговаривала с двумя людьми, Г. Б. и Дж. Ф., знавшими в Риме гравера Пьера Гусмана в ту по-

ру, когда тот увлеченно рисовал пейзажи Виллы. У меня такое чувство, что я принадлежу к чему-то наподобие Gens Aelia [10], к толпе секретарей великого человека, что я — часть императорской гвардии, составленной из гуманистов и поэтов, которые, сменяя друг друга, охраняют великую память, и я участвую в смене караула. Вот так сквозь века (без сомнения, то же происходит и со специалистами по Наполеону, и со знатоками Данте) формируется круг умов, проникнутых одними и теми же симпатиями и озабоченных одними и теми же проблемами.

* * *

Блазиусы [11] и Вадиусы [12] существуют, а их родня Базиль [13] все еще здравствует. Один раз, один-единственный раз мне пришлось выслушать оскорбления вперемешку с казарменными шутками, цитаты, вырванные из контекста или же искусно перевранные для того, чтобы мои фразы стали выражать глупость, которую они изначально не выражали, ложные аргументы, подкрепленные утверждениями туманными и одновременно категоричными, чтобы читатель, почтительно относящийся к человеку с дипломами, да к тому же не имеющий ни времени, ни желания самому обратиться к источникам,

поверил на слово. Все это присуще определенному типу людей, к счастью довольно редкому. Напротив, сколько знающих людей, которые в наше время жесткой специализации вполне могли бы свысока относиться к любым литературным попыткам реконструировать прошлое, рискующим выглядеть как посягательство на их территорию, тем не менее исполнены самых добрых побуждений. Многие из них по собственной инициативе взяли на себя труд уже после выхода в свет книги исправить вкравшуюся ошибку, уточнить какую-нибудь деталь, подкрепить гипотезу, облегчить дальнейшие поиски, и я выражаю здесь дружескую благодарность этим добровольным сотрудникам. Любая переизданная книга чем-нибудь да обязана тем благородным людям, которые ее прочли.

* * *

Стараться изо всех сил. Делать и переделывать. Вносить едва заметные поправки в уже исправленное. «Исправляя свои произведения, я исправляю самого себя», — писал Йейтс.

* * *

Вчера, находясь на Вилле, я думала о тысячах тихих жизней, неприметных, как у животных, бездумных, как жизнь растений, о бродягах вре-

мен Пиранези, грабителях, шарящих по руинам, нищих, пастухах, крестьянах, кое-как приютившихся в каком-нибудь уголке развалин, — все они сменяли здесь друг друга в промежутке между Адрианом и нами. На краю оливковой рощи, в римском, наполовину расчищенном коридоре, мы с Г. обнаружили подле тростниковой кровати какого-то пастуха и подле его временной вешалки, вбитой между двумя блоками римского цемента, золу его едва остывшего очага. Ощущение непритязательной приватности, чем-то похожей на то, которое испытываешь в Лувре после закрытия, в час, когда среди статуй появляются складные кровати музейных сторожей.

* * *

[*В 1958 году мне нечего изменить в предыдущих строках; вешалка пастуха, а может, и кровать все еще там. Мы с Г. опять сделали привал в Тампе, на травке, среди фиалок, в то священное время года, когда все возрождается вопреки угрозам, которые современный человек создает всюду в мире и самому себе. Но Вилла все же претерпела коварные изменения. Не тотальные, конечно: не испортить так быстро то целое, которое формировали века, потихоньку его разрушая. Но по редкой в Италии ошибке к*

необходимым ремонтным работам добавились опасные «улучшения». Оливковые деревья были вырублены под бестактно устроенную автомобильную стоянку и киоск-бар, похожий на выставочный павильон, превращающие возвышенную уединенность Пестрой Стои в пейзаж обычного сквера; цементный фонтан подает воду через бесполезный гипсовый маскарон, сделанный под старину; другой маскарон, еще более бесполезный, красуется на стене большого бассейна, в который теперь запустили целую флотилию уток. Были изготовлены копии, тоже гипсовые, довольно заурядных греко-римских садовых статуй, найденных здесь в ходе недавних раскопок; они не заслужили ни столь большой чести, ни такого небрежения: эти копии из плохого материала, рыхлого, подверженного вздутию, кое-как расставленные на постаментах, придают меланхоличной Канопе вид некоего уголка студии, где снимаются фильмы о жизни цезарей. Нет. ничего более хрупкого, чем гармония прекрасных исторических мест. Наши интерпретаторские выдумки не затрагивают самих оригинальных текстов, они остаются в целости после наших комментариев; но малейшая неосторожная реставрация, навязанная камню, какая-нибудь

дорога с щебеночным покрытием, врезавшаяся в поле, где из века в век мирно росла трава, навсегда создают непоправимое. Уходит, красота; подлинность — тоже.]

* * *

Уголки, выбранные, чтобы там жить, тайные приюты, устроенные для себя в стороне от времени. Я жила в Тибуре, и я, быть может, умру там, как Адриан на Ахилловом острове.

* * *

Нет. В который уже раз я посетила Виллу — и ее флигельки, предназначенные для уединения и отдыха, и остатки ее скромной роскоши, менее всего императорской, устроенной богатым дилетантом, пытавшимся наслаждаться сразу искусством и прелестями сельской жизни; я отыскивала в Пантеоне место, куда однажды утром, 21 апреля, упал солнечный луч, образовав яркое пятно; я вновь проделала по коридорам мавзолея скорбный путь, которым часто ходили Хабрий, Целер и Диотим — друзья Адриана в его последние дни. Но я перестала ощущать непосредственное присутствие этих людей, как перестала ощущать живой нерв тех событий: они оставались близки мне, но уже относились к минувшему, точь-в-точь как воспоминания о моей

собственной жизни. Наше общение с другими лишь временно; оно прекращается, когда удовлетворение получено, урок усвоен, услуга оказана, произведение завершено. То, что я способна была сказать, — я сказала; что могла узнать — узнала. Займемся пока другой работой.

Примечания

[1] Библиография к роману собрана М. Юрсенар в особом «Примечании», требующем специального комментария, обширного и по этой причине в наст. изд. опущенного.

[2] Лоуренс Томас Эдуард (1888—1935) — английский офицер и писатель; после Первой мировой войны боролся за независимость арабов на Ближнем Востоке; получил прозвище Лоуренса Аравийского. (Здесь и далее примеч. пер.)

[3] Этьенн Анри II (1528 — 1598) — один из предствителей французской семьи издателей и книготорговцев, знаток древнегреческого языка и культуры.

[4] Сборник, содержащий жизнеописания императоров от Адриана до Карина, принадлежащие разным авторам.

[5] Романы О. де Бальзака.

[6] Написанные в стихотворной форме предсказания одной из пророчиц (сивилл) — куманской сивиллы.

[7] Греческий софист и ритор (117 — 189).

[8] Фронтон Марк Корнелий (ок. 100 — ок. 175)

- римский ритор, учитель Марка Аврелия.

[9] Пылкая и страстная нежность, замкнутая женственность (англ.).

[10], Рода Элиев (лат.).

[11] Блазиус (Блез) — персонаж нескольких комедий П. Мариво.

[12] Вадиус — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины».

[13] Базиль — персонаж комедий Бомарше «Севильский цирюль¬ник» и «Женитьба Фигаро».